

РАЗГОВОР С Ф. В. БУЛГАРИНЫМ

Sine ira et studio *.

»

Не знаю, кто первый у нас начал облекать полемику в остроумную одежду разговоров: Марлинский ли, Житель ли Васильевского острова, друг ли его Житель Петербургской стороны, Лужницкий ли Старец или другой, подобный им великий писатель, делающий честь нашему веку;² но только не Ф. В. Булгарин. Впрочем, издатель «Северного архива» и «Литературных листков» неоднократно весьма удачно пользовался сим важным открытием: разговоры г-на Булгарина с Ванюшею³, испытания, которым он подвергает сего любезного отрока, и проч. и проч. остались и долго останутся в памяти всех просвещенных любителей российской словесности. Сравниться с ним не надеюсь, несмотря на излишнюю самонадеянность, в которой обвиняет меня господин Булгарин; повторяю (у нас любят повторения!) — сравниться с ним не надеюсь, хотя почтенный издатель «Литературных листков» и чистосердечно

* Без гнева и пристрастия¹ (лат.). — Ред.

признается, что он с удовольствием бы подписал свое имя под каждою из трех антикритик, помещенных нами в конце второй части «Мнемозины». Решаясь подражать г-ну Булгарину и его предшественникам, то есть вступить с ним самим в небольшой дружеский, полемический разговор, от всей души жалею, что не могу отплатить ему за упомянутое чистосердечное его признание равносильным и столь же чистосердечным: с моею *излишнею* самонадеянностью (странное противуречие!) сопряжена робость, иногда неодолимая; я бы боялся подписать свое имя под большою частию статей г-на Булгарина! Но дело не о том: мы начнем свою беседу. Фаддея Венедиктовича только попрошу повторить то, что он уже напечатал касательно второй части издаваемой князем Одоевским и мною «Мнемозины»; сам я осмелюсь, сколько умею, отвечать на его возражения.

Б. Начнем с вашей статьи: «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие». — Ваше требование, чтобы все наши поэты сделались лириками и воспевали славу народную, походит на желание Месмера намагнетизировать солнце, чтобы в лучах оного разлить магнетизм по целой вселенной⁴.

Я. Сравнение чрезвычайно умное и острое — но *contra raison n'est pas raison* *, Фаддей Венедиктович! Где и когда требовал я, чтобы все наши поэты превратились в лириков? Не в добрый час вы на меня клепете: знаю на Руси сотни две — если не три — поэтов, — все они великие писатели (по крайней мере, в своем кругу); все они делают честь нашему веку (по крайней мере, сами в том твердо уверены); Фаддей Венедиктович, что, если все, все они вздумают быть Пиндарами? Куда прикажете деться?

Я только сетую, что элегия и послание совершенно согнали с русского Парнаса оду; в оде признаю высший род поэзии, нежели в элегии и послании и доказываю свое мнение, а не *толкую*, как то вам угодно было сказать на семьдесят четвертой странице пятнадцатого номера «Литерат<урных> листков». — Итак, поставляю себе обязанностью вам объявить, что мне никогда в голову не приходило предпочесть эпической или драматической поэзии ни оду, ни вообще поэзию лирическую, к которой, впрочем, скажу мимоходом (ибо сие известие, кажется, не дошло

* сравнение не доказательство (франц.). — Ред.

еще до вашего сведения), принадлежит и элегия, принадлежит иногда даже послание. Благоговею перед английскою словесностию, вовсе не богатою одами. Знаю также, что гению все возможно, элегия Гетева «Euphrosyne» * исполнена высоких лирических красот и местами становится истинною одою. Взамену иногда оды никак не отличишь от самого хладнокровного, трезвого послания: но для того, быть может, нужно, чтоб она была переведена с Горациева подлинника г-ном Бороздною ⁵***.

Б. Кстати о трезвых одах! Вы Горация назвали прозаическим стихотворителем!

Я. Горацию — противоположил я Пиндара, о котором сам Гораций говорит:

«Кто покусится бороться с Пиндаром, Юлий, дерзает горе на восковых крыльях помощью Дедала! Он достоин наречь своим именем стекляное море! Сбегая с горы, подобно потоку, который превыше известных берегов питается дождями, огромный Пиндар кипит и изливается в вещаниях высоких!» *** Впрочем, соглашаюсь с вами, что мой приговор Горацию, *если не подтверждаю его доказательствами*, чрезвычайно опрометчив, скажу более — смешон и безрассуден; ибо без сильных доказательств смешно и безрассудно восставать противу славы писателя, освященного вековым уважением. Итак, я берусь из самых (лучших даже) од Горация вывести причины, убеждающие меня в том, что он почти никогда не был поэтом истинно восторженным. А как прикажете назвать стихотворца, когда он чужд истинного вдохновения? — Но теперь вопрос: какие оды Горация лучшие? Если назову одни, вы вправе назвать другие: их всего восемьдесят семь, не считая тринадцати эподов и гимна Аполлону и Диане (об сатирах и посланиях и говорить нечего!). Наш спор не скоро бы кончился. Разговаривая с вами в самом деле, я бы вас попросил указать мне на те оды, которые вы считаете лучшими, и тотчас приступил бы к их разбору. Но разговор наш только и

* <«Эфросина»>.

** См. № 15 «Литературных» листков», с. 72.

*** Pindarum quisquis studet aemulari

Jule, ceratis ope Daedalea

Nititur pennis, vitreo daturus

Nomina ponto.

Monte decurrens velut amnis imbres

Quem super notas aluere ripas

Fervet, immensusque ruit profundo

Pindarus ore ⁶.

единственно остроумная выдумка для большего увеселения * почтенной публики и выдумка сверх того не очень новая. Слушайте же: несмотря на свою самонадеянность, чистосердечно и всенародно признаюсь, что у меня нет ни малейшей способности к сочинению тех легких, но приятных, занимательных безделок (не извиняюсь в сем выражении, ибо уверен, что и вы их ничем иным не считаете) — безделок, вроде тех, которыми во Франции, а еще более в России Жуи⁷ приобрел известность. Вашу эфемериду «Фасон, или Модная лавка»⁸ читал я в «Полярной звезде» с непритворным удовольствием. Сердечно бы я обрадовался всякой подобной вашей статье: милую петербургскую гостью наша «Мнемозина» приняла бы, как радушная москвичка, — с благодарностью. А я (чем богат, тем и рад!) сообщил бы вам для «Литературных листков» или для «Северного архива» статью о Горации — при разборе од, которые вы мне сами назначите. Как вы об этом думаете?

Б. Вы назвали Virgiliya — учеником!

Я. Точно так; да только чьим? Гомеровым. — Сделайте одолжение, почтенный Фаддей Венедиктович, не хвалитесь своею дипломатическою точностию ** при выписках из «Мнемозины», когда в столь важном случае вы умалчиваете об имени Гомера, чьим учеником, без сомнения, был Virgiliy, хотя он и великий человек (в истинном значении сего слова), хотя он царь латинских стихотворцев.

Б. Шиллера вы назвали недозревшим.

Я. Шиллером! И во всей германской словесности предпочел ему одного Гете! Все это, между прочим, показывает, что у нас различное мерило величия. Но Шиллер не ежедневное явление в мире словесности: живо чувствую, что я должен изложить причины, заставившие меня его назвать недозревшим. Возьмите же терпение, почтенный Ф. В., выслушайте меня!

* Что, если для большей тоски и скуки? Увы! — Соч.

** Ею хвалился г-н Булгарин, переписывая в № 5 «Литературных» листков заглавие «Мнемозины» следующим образом: «Мнемозина. Собрание сочинений в стихах и прозе. Издаваемая кн. Вл. Одоевским и В. Кюхельбекером». Несмотря на сие, г-н Булгарин иногда счастливо заменяет запятые точками. Не у господина ли Воейкова перенял он это искусство? ⁹ Но господин Воейков, по крайней мере, не хвалится своею дипломатическою точностию! Фаддей Венедиктович, к чему такая *fides punicæ*? (Пуническая верность, в данном случае — вероломство (лат.)). Впрочем, вы не ограничивайтесь одними знаками препинания! — Соч.

Какие недостатки сопряжены с авторскими дарованиями, не достигшими еще зрелости? Вкус незрелых плодов сладок: теории подобных им писателей исполнены резких предрассудков и резкой односторонности; произведения же изображают по большей части их личный образ мыслей, их собственный характер, их собственные, слишком еще пылкие страсти. Посему-то в драме они столь редко могут присвоить себе лицо представляемого ими героя. Кислота их винограда еще не послащена ни постоянным действием божественного солнца, ни кроткою влажностью осеннего воздуха, то есть их буйное я еще не побеждено влиянием вдохновения, часто возвращающегося, и опытностию, уравнивающею душевные стихии. Ибо соки плода находятся в непрерывном брожении до самого достижения зрелости: а в несозревшем писателе нет того спокойствия и равновесия сил и дарований, которые столь необходимы совершенному художнику. Неспелые плоды зелены; их издали не различишь от листьев: несозревший писатель может принести честь своему времени и своему народу, но он сливается с ними, исчезает в них и с ними. Спелое только яблоко сияет багрянцем из среды дерева; зрелый только ум, не переставая быть ревностным сыном отечества, истинным сыном своего века,—возвышается над заблуждениями своих современников и ближних; он англичанин, немец, русской, но вместе гражданин всех времен, дитя всех столетий. Наконец, семя зрелого только плода произрастит другое плодоносное дерево; возмужавший только гений в состоянии преобразить свой век и страну свою; он только родит и в других народах гениев, своих учеников, но не рабских подражателей.

Возвратимся к Шиллеру.

Шиллерова поэтика не без предрассудков; предубеждения его противу великих французских трагиков известны, известны, надеюсь, и вам, господин издатель «Северного архива», вам, человеку, довольно знакомому с немецкою словесностию.

Драматург Шиллер в младшем Графе Море, в Дон-Карлосе и Маркизе де Поза, в Максе, в лицах, которые изобразил с самою большею родительскою (сочинительскою) нежностью (*con amore*), представляет себя, одного себя, только по чувствам и образу мыслей, бывшим его собственными в разных эпохах его жизни.

Шиллер перескакивал от поэзии к истории, от истории к поэзии, от трагедии Шекспировой к Дидеротовой драме

и Гоцциевым маскам, от прозы к стихам и, наконец, от новейших к древним,— не с внутренним сознанием собственных сил — стяжанием мужа, но с беспокойством юноши. В доказательство приведу только его «Тридцатилетнюю войну» и «Освобождение Нидерландов», исполненные блесков, противоположностей, витиеватости, вовсе не исторических; его «Марию Стюарт», которая не есть ни история, ни трагедия; его «Коварство и любовь», где Шекспир и Дидерот, ужас и проза, ходули и низость нередко встречаются на одной и той же странице; риторические тирады, где ожидаешь поэзии сердца, тирады, которые иногда попадают даже в «Валленштейне», в лучшем Шиллеровом творении; наконец, его «Мессинскую невесту», в которой он вдруг «Июкасту» Еврипидову, хор и роковое предопределение греков переносит в средние века, в лоно Христовой церкви, в Сицилию, покорную северным завоевателям. Шиллер почти никогда не перестает быть европейцем, немцем XVIII столетия; а если где и подражает древним — то не у места и некстати: Кассандра * его — живая немка. В так называемых балладах: «Ивиковы журавли» **, «Порука», «Кольцо Поликратово», «Торжество» («Das Siegesfest»); в переводе второй и четвертой песни «Энеиды», — он заставляет музу древней Эллады и Авзонии распевать оттавы-римы, стансы и куплеты на италиянскую статью, а сверх того краски греческой местности и нравов греческих разводит северною водою, многословием и в первых четырех описаниями, едва ли не Делилевскими. В «Колоколе» («Die Glocke», творении, — скажем мимоходом, — изобилующем превосходными стихами, но рожденном не вдохновением, а, подобно мозаике, по прозаическому предначертанию слепленном из частей совершенно разнородных) — в «Колоколе», напротив, князь теней, Айдес греков является с тем, чтоб похитить с земли немецкую мешанку ***. Далее, в «Дон-Карлосе» характеры Филиппа, Позы и Карлоса составлены по немецкому же образцу; они никогда не могли существо-

* Переведена Жуковским.

** Также переведены Жуковским.

*** Ach! die Gattin ist's die Teure!

Ach! es ist die treue Mutter,

Die der schwarze Fürst der Schatten

Wegführt aus dem Arm des Gatten!

Denn sie wohnt im Schattenlande! ¹⁰

*И проч.

вать ни на престоле, ни близ оного, а ещё менее под небом полуденным. «Иоанна д'Арк» в конце третьего и в начале четвертого действия своею невозможною и непоэтическою любовью к Лионелю возмутит всякого просвещенного читателя. В лирических стихотворениях Шиллера господствует одна мысль или, лучше сказать, одно чувство — предпочтение духовного (идеального) мира существенному, земному: чувство, без сомнения, высокое, истинно лирическое; но им ли одним должна ограничиться поэзия? Одностороннее, не показывает ли оно теорию одностороннюю же? Сие чувство лет десять повторяется во всех почти произведениях русского Парнаса писателями, отголосками Жуковского, Шиллерова отголоска; но, как возмужалый только гений может иметь учеников, состояжающихся с ним, а не рабски ему подражающих, вы мне позвольте, милостивый государь, усомниться в истинном достоинстве и прочном бессмертии сей германо-русской школы.

Конечно, Шиллер усовершенствовался бы и созрел, если бы жизнь его продлилась долее: «Валленштейн» и «Вильгельм Телль» уже являют мощного, счастливого соперника Шекспирова, соперника, который, может быть, воссел бы рядом с сим единодержавным властителем романтической Мельпомены. «Валленштейнов стан» в своем роде произведение образцовое и уже не являет ни одного из вышеупомянутых недостатков; но, к несчастью, одна ласточка без подруг своих только предвещает, а не составляет еще весны.

Итак, почтенный и любезный Ф. В., сами решите, прав ли я или не прав, когда называю Шиллера несозревшим, противопоставляя ему Гете?

Гете, во-первых, не имеет Шиллеровых предрассудков: ибо, рассуждая с французами и о французах (как-то: в своих отметках о французских классиках, в разборе Дидеротова сочинения о живописи¹¹, в примечаниях к изданной и переведенной им книге Дидерота — «Племянник Рамо»), — не помнит, что он немец, старается познакомиться, помириться с образом мыслей французов, сих природных своих противников, проникнуть во все причины, заставляющие их думать так, а не иначе.

Во-вторых. Он всегда забывает себя, а живет и дышит в одних своих героях. В чем могут убедить каждого его Гец, Тасс, Фауст и даже Вертер.

В-третьих. Он всегда знает, чего ищет, к чему стремится.

В-четвертых. С дивною легкостью Гете переносится из века в век, из одной части света в другую. В «Фаусте» и «Геце» он ударом волшебного жезла воскрешает XV век и Германию императоров Сигисмунда и Максимилиана; в «Германе и Доротее», в «Вильгельме Мейстере» мы видим наших современников и современников отцов наших, немцев столетий XIX и XVIII всех возрастов, званий и состояний; в «Римских элегиях», в «Венецианских эпиграммах», в путевых отметках об Италии встречаем попеременно современника Тибуллова, товарища Рафаэля и Бенвенута Челлини, умного немецкого ученого и наблюдателя; в «Ифигении» он грек; древний тевтон в «Вальпургиевой ночи»; поклонник Браммы и Маоде¹² в «Баядере»; в «Диване», сколько возможно европейцу, никогда не бывавшему в Азии,— персиянин.

Б. Байрон — по вашему мнению — однообразен!

Я. Когда благороднейшие сердца и лучшие умы всей Европы скорбят о преждевременной смерти сего великого мужа — мне, признаюсь, больно казаться его противником! Если бы подозревал, что его блистательное поприще кончится так скоро — я воздержался бы от суждения о нем, справедливого, но неуместного среди общей печали. Но, к несчастью, сказанное сказано. Так! Байрон однообразен, и доказать сие однообразие нетрудно.— Он живописец нравственных ужасов, опустошенных душ и сердец раздавленных: живописец душевного ада; наследник Данта, живописец ада вещественного. И тот и другой однообразны: «Чистилище» Дантово — слабое повторение его «Тартара»; «Гяур», «Корсер», «Лара», «Манфред», «Чайльд-Гарольд» Байрона — повторения одного и того же страшного лица, отъемлющего своим присутствием дыхание, убивающего и сострадание и скорбь, обливающего зрителя стужею ужаса. Но непомерна глубина мрака, в который сходит Байрон бестрепетный, неустрашимый! Не смею уравнить его Шекспиру, знавшему все: и ад и рай, и небо и землю,— Шекспиру, который один во всех веках и народах воздвигся *равный* Гомеру, который, подобно Гомеру, есть вселенная картин, чувств, мыслей и знаний неисчерпаемо глубок и до бесконечности разнообразен, мощен и нежен, силен и сладостен, грозен и пленителен! Не уравнию Байрона Шекспиру; но Байрон об руку с Эсхилом, Дантом, Мильтоном, Державиным, Шиллером,— и прибавлю, с Тиртеем, Фемистоклом и Леонидом перейдет, без сомнения, в дальнейшее потомство.

Б. Поверят ли вам читатели в означении степени дарований поэтов, когда вы поставляете барона Дельвига выше Жуковского, Пушкина и Батюшкова, сих великих писателей, делающих честь нашему веку?

Я. И в праве бы были не поверить, если бы я в самом деле вздумал отдать Дельвигу преимущество перед Пушкиным и даже Жуковским: но, к несчастью, это (как и многое другое) только вам привиделось! Впрочем, Ф. В., не нам с вами составлять парнасскую табель о рангах! Скажу вам только, что *великий писатель*, делающий честь своему веку, — великое слово! Пушкин, без сомнения, превосходит большую часть русских, современных ему стихотворцев: но между лилипутами не мудрено казаться великаном! Он, я уверен, не захочет сим ограничиться. Барона Дельвига ему ничуть не предпочитаю: первый Дельвиг отклонил бы от себя такое предпочтение, ибо лучше нас знает, что, написав несколько стихотворений, из которых можно получить довольно верное понятие о древней элгии, еще не получаешь права стать выше творца «Руслана и Людмилы», романтической поэмы, в которой, при всех ее недостатках, более творческого воображения, нежели во всей остальной современной русской словесности; творца «Кавказского пленника», написанного самыми сладостными стихами, представляющего некоторые превосходные описания, вливающего в душу — особенно при первом чтении — живое сетование; наконец, творца «Бахчисарайского фонтана», коего драматическое начало свидетельствует, что Пушкин шагнул вперед и не обманет надежд истинных друзей своих!

Ваш «Северный архив», ваши «Литературные листки» читаю иногда с удовольствием: в них довольно занимательного, довольно даже полезного, иногда нечто похожее на желание быть или, по крайней мере, казаться беспристрастным; положим, что я вздумал бы назвать вас лучшим русским журналистом, — что бы вы сами сказали, милостивый государь, если бы из того кто вывел заключение: «Кюхельбекер ставит Булгарина выше Пушкина или Жуковского»?

Прервем, однако же, наш довольно длинный разговор, в котором, опасаясь вложить вам в уста то, чего вы, может быть, не признали бы своим, по необходимости заставляю вас повторять уже известное господам читателям «Литературных листков». В мою бытность в Грузии я знал некоторого молодого человека, избавлявшего своих собеседни-

ков от труда растворять рот при монологах, которые произносил в их присутствии, ибо сей любезный юноша, принадлежащий, между прочим, также к нашим тремстам великим поэтам, делающим честь своему веку, обыкновенно вступал в спор с своим безмолвным слушателем вот каким образом: «Я утверждаю,— говорил он, например,— что снег бел; вы, может быть, скажете, что он черен; но я, чтобы опровергнуть ваше мнение, приведу вам следующие доказательства», потом следовали сии доказательства — неоспоримые; потом опять возражения со стороны несчастного его товарища, и не думающего возражать; потом снова доказательства и снова возражения, и это до бесконечности! Таков был сей незабвенный мой тифлийский знакомец! Боюсь подражать ему! Итак, в заключение только поблагодарю вас, что вы находите мое стихотворение «Проклятие» — страшным; оно и должно быть страшным! Но вы полагаете, что оно «похищено из храма Эвменид и поставлено в вертограде словесности для пугания коршунов, угрожающих расцветающим поэтам». Кто сии коршуны? Не невежды ли, двуличные, злонамеренные критики? Если вы их разумели под сим словом — вы ошиблись, почтенный Фаддей Венедиктович! На них я никогда не вооружусь проклятием,— разве, разве насмешкою!

Засим я имею честь пребыть вашим
покорным слугою.

Кюхельбекер

Впервые — «Мнемозина», 1824, ч. III, с. 157—177.

«Разговор» написан в ответ на критику, которой Ф. В. Булгарин подверг статью Кюхельбекера «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие» (см. наст. изд., с. 190—197) в «Литературных листках», 1824, № 15. Появление «Разговора...» вызвало очередной ответ Булгарина («Литературные листки», 1824, № 21—22, ч. IV), написанный в чрезвычайно озлобленном тоне.

¹ Тацит говорит в «Анналах», что таким образом будет вести свое повествование.

² *Марлинский* — псевдоним А. А. Бестужева, *Житель Васильевского острова* — псевдоним Н. А. Цертелева, *Лужницкий Старец* — псевдоним М. Т. Каченовского. Говоря о *Жителе Петербургской стороны*, Кюхельбекер, по-видимому, имеет в виду шуточный персонаж статьи П. А. Вяземского «Вместо предисловия к «Бахчисарайскому фонтану», разговор между издателем и классиком с Выборгской стороны или с Васильевского острова».

³ По определению самого Булгарина, *Ванюша* — «лицо вымышленное», с которым он вел разговоры на литературные темы (см.: «Литературные листки», 1824, № 21-22, ч. IV, с. 111—112).

⁴ *Ф. Месмер* — австрийский врач, выдвинувший антинаучную медицинскую теорию, согласно которой планеты посредством особой магнитной силы действуют на организм человека. Несостоятельность этой теории была установлена еще в 1774 г., и ко времени написания статьи Кюхельбекера месмеризм стал синонимом шарлатанства.

⁵ И. П. *Бороздна* — русский поэт и переводчик. Имеется в виду перевод 4-й оды Горация из книги I — «К Сестию».

⁶ См.: *Гораций*, 2-я ода IV книги.

⁷ См. прим. 12, с. 344.

⁸ *Эфемериды* — буквально: поденки, отряд крылатых насекомых из отдела древнекрылатых. Они не питаются и живут очень недолго. В переносном смысле: скоропроходящее, однодневка. «*Фасон, или Модная лавка*». — Имеется в виду произведение Булгарина «Модная лавка, или Что значит фасон?» (1823).

⁹ Полемическая острота этого вопроса усиливалась взаимной не-

приязнью Булгарина и Воейкова, которая была хорошо известна современникам.

¹⁰ Цитируется «Песнь о колоколе» Ф. Шиллера:

То жену, то мать — властитель
Царства мертвых вырывает
Из семейственного круга,
Из молящих рук супруга.

Обитает в царстве тени
Нежно любящая мать.

Перев. Вс. Рождественского

¹¹ Имеется в виду «Опыт о живописи» Дидро. Гете разбирает эту работу.

¹² *Брама* — высшее существо у индусов. *Маоде* (правильнее Магадев) — божество в индусской мифологии.